17.07.93

Евтушенко Е.

НЕТ ЛЕТ...

Куранты. — 1993. — 17 июл. — С.7.

На поэтические вечера когда-то ломились, а сейчас они вроде не в моде. Однако Евгения ЕВТУШЕНКО это не смущает. 21 июля поэт устраивает авторский вечер в концертном зале "Россия". Название выбрано оптимистическое:

— Потянуло вспомнить молодость, Евгений Александрович? Не дает покоя память о поэтическом шквале шестидесятых?

— Тогда какое было время! Мы были совсем мальчишками, и нас любили такие же мальчишки, как мы. Первое мое выступление — публичное, индивидуальное — состоялось ровно сорок лет назад. Так что уж позвольте немного повспоминать.

Когда я приехал в Москву со станции Зима в сорок четвертом, еще шла война. И меня отец взял на выступление фронтовых поэтов. Представьте: нетопленый зал, несмотря на мороз, битком набит, люди сидят в пальто, варежках, аплодируют. Выходит Антокольский, у которого убили сына на фронте, читает свою "Поэму о сыне", и все встают...

Я ощутил тогда великую силу поэзии и уважение к настоящим стихам. Война дала уникальную возможность писать совершенно искренне — и печататься. Тогда родилось симоновское "Жди меня", зазвучал из осажденного Ленинграда голос Ольги Берггольц — той, что прошла бериевские застенки, лишилась там ребенка. К поэзии возвращалось утраченное в сталинские времена достоинство, казалось — другая жизнь началась. И вся она представлялась сплошным Днем победы. Я помню тот день. Я, как все мальчишки, торговал папиросами поштучно — и тогда мы на Красной площади раздавали бесплатно свои запасы. И так же поступали торговцы пирожками, мороженым, а на мавзолее инвалид с американским офицером пили "из горла", обнимались...

Я думаю, Сталина испугал тот дух независимости, самоутверждения, который вернула людям война. И начали давить все и всех, возродилось засилье цензуры. Те же самые поэты, которые писали прекрасные стихи, либо переставали писать совсем, либо писали плохо. Пропало уважение к поэзии. И даже книжки Пастернака или Мартынова, изданные крошечными тиражами, лежали на прилавках: никто не брал. Упала сфера слов, правда слова. Их мы и попытались возродить.

Сначала был я, потом появилась совсем молоденькая восемнадцатилетняя Белла, появился Вознесенский, позже присоединился Окуджава, который был старше. Тогда диссидентского движения не существовало. Сахаров — засекреченный ученый, Солженицын сидел. И только несколько мальчишек и девчонок на сцене делали свою революцию. Неправильно говорят, что мы писали хорошие стихи тогда: случались хорошие, но и очень много плохих. Мы были во многом наивны. Мы идеализировали Ленина. Романтизировали Фиделя Кастро: впервые увидели, что лидер может быть и такой — молодой, симпатичный, говорит без бумажки, ходит в ночные бары, обнимается со всеми. Мы многого не знали, и не стоит сравнивать нынешний опыт с нашим. Наши заблуждения были искренними, и можно разве что пожалеть нас за это.

Я очень люблю наше поколение. Если оглядеться сейчас вокруг, увидим столько прекрасных людей из "шестидесятников" во всех отраслях жизни. Они, как ни странно, будучи разочарованными во многом, сохранили романтизм. Конечно, многие перессорились, но все-таки существует что-то родственное, что нас объединяет. Общие надежды, может быть, пусть даже неосуществившиеся, искаженные...

— Один из ваших поэтических вечеров сохранила пленка — кадры, вырезанные цензурой из фильма "Застава Ильича". Похоже, на сцену вы тогда шли как на бой. Какие "сражения" самые памятные?

— Мы читали стихи на заводах, фабриках, в институтах, школах, выплескивали поэзию на площади. Мы создали День поэзии. Тогда еще плохо продавались книжки, и мы делали эти вечера с надеждой улучшить ситуацию. Сами не ожидали, что в книжный магазин на Моховой придет несколько тысяч человек. В помещении все, конечно, не поместились, так что пришлось нам выйти во двор, к комаудитории университета. А на второй День поэзии на площади Маяковского собралось уже тысяч тридцать пять народу.

А одно из самых любимых выступлений — это когда я в шестьдесят третьем году оказался в Харькове. Проезжал через город на своем "Москвичишке" затрепанном, забарахлил мотор, пришлось остановиться. Харьковчане меня узнали и пригласили принять участие в открытии первого "фирменного" магазина поэзии, хотя все газеты в то время меня поливали грязью... Я пришел и увидел множество людей! Представляете? Выступал тогда на бочке от тихоокеанской селедки, без микрофона, который отобрала милиция (мое появление не было разрешено). Люди стояли вокруг, смотрели из окон домов. И вдруг сверху спустилась на веревочке авоська с китайским термосом, а в нем — теплое молоко! В память о той атмосфере я и согласился баллотироваться в депутаты в Харькове. И когда приехал в этот город спустя восемнадцать лет, мне устроили встречу на том же месте. И та же женщина, только, к сожалению, постаревшая, снова вынесла теплое молоко...

— Ваше депутатство и связанная с ним бурная политическая деятельность не пошли ли в ущерб поэзии?

— Я никогда не собирался стать профессиональным политиком. Я был депутатом особого созыва в переломный момент истории. Что же сейчас я буду заниматься политикой, если главной стала экономика? Нужно развивать производство, а что я могу производить? Я — писатель, ну еще фильмы могу снимать.

— Немало толков вызвало ваше недавнее пребывание в Америке: мол, демократ Евтушенко предпочел более комфортную заокеанскую жизнь...

— У меня было огромное количество лекций в штате Оклахома о русской поэзии XIX — XX веков и чудесные студенты, с которыми я даже поставил "Моцарта и Сальери". Они потом приедут сюда как бизнесмены — и это уже будут другого типа деловые люди, они любят нашу страну.

Да и что я — член парламента? Служу где-то, зарплату получаю? Не сравниваю себя с великими классиками, но скажите, что важнее: то, что Гоголь ходил в один магазин с Иван Иванычем и Иван Никифорычем, или то, что он написал "Мертвые души"? Существует ли сейчас хоть один нормальный свободный человек, которому предложили бы на год хорошую работу соответственно специальности в Америке и который бы отказался?

Я написал роман, единственный существующий пока роман о путче. Наши издательства все никак его не выпустят — как говорится, не мычат, не телятся. А в Америке он уже появился на русском языке и переведен на английский. Мой американский издатель сделал книгу за пятнадцать дней, а это даже для Соединенных Штатов быстро. Но он боялся, что роман выйдет у нас через несколько месяцев и его начнут чемоданами провозить в Штаты. Напрасно боялся — все наоборот! Иду на днях по Кузнецкому мосту и вижу: двое парней продают американское издание моего романа за пятнадцать тысяч (в Штатах он стоит пятнадцать долларов). Я подошел, говорю: дорого ведь! А продавцы, узнав меня: "Евгений Александрович, что ж вы хотите? Да, мы купили книгу по оптовой цене, но разве вы не знаете, сколько стоит при перелете лишний килограмм веса? На каждом экземпляре мы зарабатываем всего пару-тройку тысяч и продаем только потому, что роман понравился". Рядом стоит женщина, листает книгу. Потом, вздохнув, отложила и обращается ко мне: мол, я ваша старая поклонница, все ваши издания собирала, а это купить уже не могу, это вся моя месячная зарплата. К счастью, у меня оказались с собой деньги, да и продавцы по такому случаю пару тысяч "скинули". Но я же не могу каждому читателю дарить по книге! И жутко хочу, чтобы роман поскорее вышел здесь.

— Интерес к литературе сейчас упал, а о поэзии и говорить нечего. Людям ближе заботы о хлебе насущном. Не боязно проводить авторский вечер в столь неблагоприятной обстановке?

— Конечно, нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Но я считаю: во все времена поэзия нужна. Сейчас распространяется гнусная легенда, что людям, мол, не до поэзии. А во всякой легенде есть элемент гипноза: когда что-то внушают, слова укореняются в сознании. Дескать, зачем тебе, мальчик, читать стихи — все равно не поймешь. Зачем идти учиться на филолога, если швейцар в казино за одну ночь получает три "филологических" зарплаты? Но я исхожу из своего опыта — не только русского, но и международного. Я читал стихи в девяноста трех странах, в разных аудиториях. Бывал даже в местах заключения и видел там очень много несчастных, запоздало раскаявшихся: они выходили из тюрьмы и повторяли старое, потому что преступниками их делало недоверие людей. Но я не видел на своем веку ни одного человека, который был бы неспособен почувствовать поэзию.

Людей к поэзии надо приучать, как делали это мы в свое время. Слушатели постарше тогда не воспринимали нас всерьез, видели в нас что-то шумное, несолидное, но ходили из любопытства — и постепенно привыкали. Поэзию нашего поколения называли эстрадной, и про меня один из критиков, помню, написал: если Евтушенко выйдет и будет читать телефонную книгу, он и тогда доведет зал до экстаза. Считалось, что наши стихи — не для чтения глазами. Но даже такой большой поэт, как Пастернак, который сам не выступал на эстраде, благословил меня и Вознесенского. Он много слушал нас у себя дома: Андрей бывал чаще, я — реже, к сожалению. Но и мне Борис Леонидович замечательно написал на память: "Дорогой Женечка, Евгений Александрович, вы сегодня читали у нас, трогая нас всех до слез доказательствами своего таланта..."

И в те годы поэтические вечера кое-кого раздражали. Помню, как решали голосованием в Союзе писателей, дать или не дать Дворец спорта под мой концерт. И один поэт (не буду называть имя) ворчливо сказал: "Мне уже скоро семьдесят, а я никогда не выступал во Дворце спорта". И тогда Римма Казакова говорит: "Хорошо, давайте я вам устрою выступление в этом дворце". — "Как, но я же не смогу там?!"

А то, что происходит сейчас... Знаете, в жизни тоже бывают приливы и отливы. Конечно, трудно — из-за коммерческой цензуры, сменившей политическую, из-за издательского беспредела. Но еще огорчительнее знать, что уже у трех, а может, и четырех поколений, не появятся вот такие свои глашатаи, в которых могли бы влюбиться их ровесники и поддержать их своей любовью. Очень жаль, что нет у сегодняшних двадцатилетних поэтов, которые стали бы кумирами своих сверстников. Инициативу воспитателя поколения перехватил рок, а там слова играют роль аккомпанемента. Хотя не могу сказать, что они всегда плохи. На мой взгляд, здесь были три одаренных поэта — Макаревич, Башлачев и Гребенщиков. Я даже включил их в свою "Антологию русской поэзии", которая в английском варианте выходит в августе. В русское издание войдут стихи примерно шестисот поэтов: подписаться на него можно будет на вечере.

Сейчас вечер поэзии для меня — чудо. И здорово, что его никто не организовывал. Я его захотел устроить сам, еще будучи в Нью-Йорке. И помог банк "Кредит-Москва". Его президент спросил: "Неужели будешь сам платить за аренду? Нам потомки не простят", — и снял зал. Но сначала, 18 июля, в день своего рождения, выступлю в Санкт-Петербурге. Петербуржцы с Божьей помощью смогли издать мою новую книгу — сборник любовной лирики "Нет лет..." Так я назвал и авторский вечер в "России". Как он пройдет, не знаю — я всю жизнь не знаю, что буду делать на сцене, что читать. Определенно скажу только, что обещали выступить Таня и Сережа Никитины с песнями на мои стихи. И знаете, даже если этот вечер — донкихотский поступок и я слишком преувеличиваю возможность воскрешения интереса к моей личности и творчеству, то все равно эта попытка сыграет какую-то роль.

— Этим вечером вы отмечаете и свое шестидесятилетие. Ощущаете груз лет?

— В голове не укладывается! Но, помните, у Пастернака: "Ты так же сбрасываешь платье, / Как роща сбрасывает листья, / Когда ты падаешь в объятье / В халате с шелковою кистью". Когда Борис Леонидович это написал, ему было шестьдесят. Так что еще какой-то шанс у меня остался!

Беседу вела Татьяна ИСКАНЦЕВА.

Фото ИТАР-ТАСС.